

Она даже не появилась – она проявилась в темном дверном проеме, как проявляется негатив.

Нет. На подлинных старинных, уже черенных временем иконных досках – мне нравится у Даля: «из одного дерева икона и лопата», и я бы добавил: и старая, натруженная человеческая ладонь, – изображения кажутся не нанесенными, извне, даже самой искусенной, мастерской рукой, а проступившими изнутри. Как на бязевой нательной сорочке молодой матери проступает солнечное молозивное пятно.

Настоящие иконы почему-то всегда выпуклы, не отвесны, как будто их делают из мореных плашек, первоначально предназначенных даже не для лопат, а для пузатых деревянных кадучек.

Увидел ее краем глаза. Знаю точно, что дверь в мою комнату была закрыта. В комнате темно, насколько темно может быть ночами в квартирах современных бессонных, в электрических сполохах, многомиллионных роевых городов.

Я не в бреду – это тоже знаю точно, поскольку даже в самые кризисные ночи моей болезни температура у меня не поднималась выше 38,5. Я один, ухаживающую за мной младшую дочь сморило в соседней спальне. Я, повторяю, в здравом, пока еще в здравом, рассудке. Дверь закрыта – раньше они у нас были светлые, но сейчас, после ремонта, жена поменяла все их, в том числе и колер, на темный,

псевдомореный, если и не церковный, то – монастырский, мужского монастыря. Монастырь по виду мужской, хотя состав его преимущественно женский – из мужчин я тут чаще один.

И вот перед этой закрытой, тяжелой дверью – или прямо на этой двери? – проявилась, проступила, молозивом, моя мать. Вошла. Пропиталась.

Которой нет на белом свете уже ровно пятьдесят девять лет.

И которая давным-давно уже даже не снилась мне, разве что изредка-изредка отдельными родными, вдруг возникающими в памяти чертами. Во сне, а чаще наяву – в моих промелькнувших вдруг, узанных чертах дочерей, из которых больше всех похожа на мою мать, на свою бабуку, опять же младшая.

А тут, в третьем часу ночи, явилась. Вся, целокупно, в дверном проеме, как в горсти.

В Москве – дальше своего райцентра при жизни не отлучавшаяся, не то что с кладбища, пропеченного нашими степными суховеями не на два положенных человечеству метра, а до самого пупка, до преисподней, откуда даже беспомощно искрящим слюдяными крылышками кузнечикам взлететь невмочь: только неистово молятся, вместе с зелеными, марсианскими богомолами, и в бурьянах, и в полыни.

Резкости, конечно, нету, да православные иконы вообще как сквозь слезы писаны, но явственно узнаваема – до молотка в висках.

Ноги дрожат и разъезжаются, как восковые еще копыта у новорожденного теленка. И еще страшнее, обморочнее, чем слабость, – апатия. Всепоглощающая. С вылупленными бессонными глазами неотвратимо погружаешься, уходишь в нее, как под мертвую воду. Тонешь, и нет никакого желания, позыва, животного, схватиться, хотя бы за воздух, или позвать кого-то на помощь.

Смуглое, опаленное солнцем курносое русское лицо – все Богородицы на Руси темнолики не в силу своей природной национальной принадлежности, а потому как просмолены до самых недр горьким медом и зноем обращенных к ним материнских русских молитв. Белый-белый миткалевый платочек домиком, по случаю надетый выходной полушерстяной жакет в талию и, тоже выходная, плотная, опрятная юбка в частую рябенькую клеточку...

Господи, я до рези в виске узнал, вспомнил этот ее наряд: ничего праздничнее, выходнее у нее отродясь не было.

Принарядилась – как на чужую свадьбу: своей у нее тоже никогда не было.

Матери не стало, когда мне было четырнадцать лет, но Бог ты мой, я, кажется, видел эти ее одежды, покровы ее не только в детстве-отрочестве, но и значительно позже.

Разношенные, как с чужого плеча – при невеликом росточке ее – неутомимые руки на сей раз по-разительно свободны.

Смутно?

Отрешенно. Строго?

Скорее, все-таки строго взглянула она на меня.

Как же непоправимо виноватого.

Мне тогда было четырнадцать, а ей-то, ей – всего сорок пять!

И кто же тогда виноватее перед нами обоими: жизнь или же смерть?

Миг, всего миг, и по черноиконной доске прошел безмолвный скипидарный смыв.

Я крепко, как в детстве, вздрогнул и понял: надо соглашаться на больницу: мать велит.

\* \* \*

Ноги дрожат и разъезжаются, как восковые еще копыта у новорожденного теленка. И еще страшнее, обморочнее, чем слабость, – апатия. Всепоглощающая. С вылупленными бессонными глазами неотвратимо погружаешься, уходишь в нее, как под мертвую воду. Тонешь, и нет никакого желания, позыва, животного, схватиться, хотя бы за воздух, или позвать кого-то на помощь.

Нет, мать, пожалуй, и звал – неслышным и действительно виноватым, даже не младенческим, а уже эмбриональным дискантом.

Так я никогда не болел.

Даже когда поймал сальмонеллу.

Даже когда, тощим солдатом, заполучил в поезде воспаление легких.

И даже когда в первом классе, действительно почти младенцем, попал под районный «козлик» и обрел корявую пробоину в голове, что – теперь уже безволосой нашлепкою, округлой шлычкою – нащупывается до сих пор.

Собственно, это и есть три случая в моей жизни, когда я оказывался в лазарете или в больнице.

Сейчас совершенно свободно и даже почти добровольно мог очутиться – очнуться? – и еще дальше, глубже: с каждым днем, вернее, с каждой ночью все хуже и хуже.

А я, дурень, все тянул и тянул.

Тонул.

И тут явилась она. Мать.

И строго, внятно так посмотрела. С двери, как с иконы.

И я, подчиняясь, задыхаясь, решил, решил все же – выныривать.

Медленно-медленно: почти что утопленник широко разинутыми стекленеющими глазами.

Мать! – она и к пробитой моей голове тогда, тоже в белом платочке, примчалась, в райцентр, и жадно приникла к ней, вливая, через заляпаные красным



фотосессия, хлопотами на кухне. А вот почему нету меня, я знаю, помню точно.

Потому что мне деревенский, только что демобилизованный из армии парняга-шофер, возивший в сельсовет жениха и невесту, разрешил посидеть одному в кабинке его грузовика. Какое там фотографирование! – мне так редко выпадало счастье крутить, хотя бы оставаясь на месте, вороненую, лоснящуюся баранку, дотягиваться сандалией до педалей и вдыхать волшебную вонь тавота бензина и нагретого чужими задницами кожаменителя...

Не могу оторваться от фотки. Подношу к самым глазам – не только в голове, но даже в них, в глазах моих измученных, мал-мал прояснилось. Боже мой, моя молодая еще, скромно притулившаяся к писаной красавице Лиде, своей двоюродной сестре, родной дочери материной тетки Меланьи, мама в том самом платочке домиком, в том самом «выходном» полшерстяном жакете в талию и в той самой плотной красиво удлиненной клетчатой юбке, в которых и явилась она строго только что в моем дверном проеме!

Помню ли я все эти пятнадцать лет досконально эту затерявшуюся карточку?

Наверное.

Свадьбу же помню в подробностях.

Пятьдесят второй. Мне пять лет. У нас с мамой впереди девять совместных лет, почти вечность.

Сейчас мне семьдесят три. Похоже, это не я ее вспомнил. Это она затревожилась.

...И только запах духов «Белая акация» – вот чудачка, у нас этой «Белой акации» пруд пруди, возле каждого тына, стоило ли тратиться? – невестино послевкусие вкупе с нагретым и основательно-таки, под спаренным весом молодых, да еще с довеском, с припеком, промятой сидушкой смешивался с волшебным техническим ароматом ленд-лизовского «студебекера». Да, молодых наших, припоминаю, прокатили даже не на «газончике», а аж на единственном в Николе американском «студебекере».

Запахи – звуки же я в те минуты изо всей мочи, на всю округу исторгал на всю округу сам: клаксон ведь был в полном моем распоряжении. Как салют новобранцам.

Да, сад еще лебяжьем пухом, из первобранной, жарко истерзанной перины курился надо всеми нами, щекотно проникая и ко мне в кабину.

...Скорая на рысях покатила меня со двора. Тридцать лет назад, переезжая в этот дом, я оказался здесь, пожалуй, самым молодым из «ответственных» квартирисьемщиков. Сейчас же, наверное, я самый

старый: тяжкая, сорная волна времени и перемен пронеслась сквозь кирпичные соты дома и унесла с собою, зачистую на таких же дрогах скорых, всех моих предшественников: «ответственные» сейчас совсем другие, молодые, пробивные, не ведавшие петушиного клюва в заднице. Да и зовутся они теперь уже не «ответственными», а совершенно советским словом «хозяева».

И самой жизни, в отличие от меня, тоже.

Грустно смотрел за окошко скорой: вернусь ли сюда и я?

В приемном покое меня действительно уже ждали, как ждут на кухне хозяйки подлежащую разделке дичь.

В самом деле разделали, раздели, сунули в компьютерный томограф, как в тренировочный саркофаг, изъяли, сколько смогли, крови, измерили температуру и давление. На давлении споткнулись, заговорщицки переглянулись, все, как юная Валентина Терешкова, с которой я тоже в свое время летал, правда, не в космическом аппарате, а просто в первом классе советского Ил-62, в прозрачных стеклопластиковых скафандрах и в белоснежных, невестиных комбинезонах – меня лично в такой облачали когда-то тоже, на роковом четвертом энергоблоке в Чернобыле.

Глазами спросил и мне глазами же – почему-то почти все здесь отчаянно, весенне-голубоглазы – молодец В. И., умеет подбирать кадры! – ответили, указали на тонометр: 180/110!

Дали таблетку.

– И можно домой? – не без тайной надежды пошутил-спросил, теперь уже голосом, я.

– Что вы, у вас двустороннее воспаление легких.

– А ковид? – вопль голоса решился я на запретное слово.

– У нас теперь любая пневмония идет по ковидному признаку, – сухо ответили мне.

И как я ни противился, ни убеждал, что могу и на своих двоих, мне велели прямо из саркофага переместиться в кресло-каталку, по существу в инвалидную коляску, и та же космическая Офелия – а может, сама Ариадна? – как прекрасная, царских кровей, времен Первой мировой сестра милосердия повезла, повлекла меня, хворобного и в меру смущенного, по длинным, сталкеровским коридорам, по лифтам... Разместили в крошечной, метров восьми, но отдельной палате, в стерилизованном комодике, почти кувезе. Вновь померили давление и вновь покачали головами:

– Вы что, так испугались? Не бойтесь, выживаемость у нас высокая...

Сигнальный прожектор  
далекого высотного  
подъемного крана, тоже  
как фельдшер-стажер,  
пытался обследовать  
и комнатку, и меня  
лично, прямо до дна.

Да я, в общем-то, и не боялся. Шут с нею, со здешней выживаемостью – теперь, после материнского сурового внушения, я потихонечку, исподволь стал уверовать просто в собственную живучесть. Мы же николевские, будем считать: не первая зима на волка.

И, надеюсь, черт возьми, не последняя.

\* \* \*

Первый день, первая ночь в стародавешком глазированном комодике с окном на больничный двор, по которому задумчиво, как сталкерши, в своих пугающих антирадиационных комбинезонах и в скафандрах бродят все те же сестрички, либо осторожно неся, как младенцев-сосунков, на груди, какие-то колбы-реторты, либо толкая перед собой такие же, на каком пребывал и я, да и с таким же сомлевшим грузом, кресла, а то и просто каталки, уже наглухо зашторенные простыней. Сигнальный прожектор далекого высотного подъемного крана, тоже как фельдшер-стажер, пытался обследовать и комнатку, и меня лично, прямо до дна. Да я и не возражал: у меня, как и у него, тоже бессонница – и от лекарств, в которых, видимо, прорва мочегонных, и от раздумий.

Где я мог поймать?

Или – где меня поймало?

Вспоминаются две картины.

Одна весьма приятная. Некий московский театр благосклонно принял «к читке» мою пьесу – для чтения – «Снятие с поезда». О Михаиле Булгакове, который в 1939 году, стремясь поправить свое политическое реноме, а заодно и материальное положение, написал пьесу о Сталине, о его молодых революционных годах (в ней он, Сталин, проходит под знаковым именем Пастырь). И по командиров-

ке воодушевленного репертуарной политической находкой МХАТа – приближался шестидесятилетний сталинский юбилей – с группой его, МХАТа, сотрудников и под водительством собственной, булгаковской пробивной жены Елены Сергеевны ринулся в Батум. Проработать детали и антураж постановки. Но его телеграммой, зачитанной перепуганной проводницей, уже в Серпухове сняли с поезда.

Проводница протискивалась по международному вагону и голосила:

– Булгахтеру! Кто тут булгахтер? Булгахтеру телеграмма...

Булгаков, побледнев, высунулся, оторвавшись от застоля, в дверь:

– Я – Булгаков. Это наверняка мне...

Так и сняли: мхатовцы выскочили, слиняли сразу, прямо в Серпухове, а Михаил Афанасьевич с Еленой Сергеевной из упрямства и вредности дотянули аж до Тулы.

Дальше тянуть было опасно: вторая телеграмма ввалилась бы уже не в железнодорожной униформе, а в сапогах и в синих погонах.

...И меня позвали в театр, на небольшой, камерный прогон чужой пьесы, почти на междусобойчик. После удачного прогона – театральное «чаепитие», на которых, как я понимаю, «чай» не бутафорский, а вполне себе сорокаградусный. Директриса театра – из тех, кто быка на ходу остановит, причем одними только афишными, широкоформатными, явно из актрис, глазами, – знакомая, озорно обронила:

– Ну что, как там у Евгения Леонова: «по пятьдесят граммов – и в школу не пойдем»?

Ну, кто же на моем месте посмел бы отказаться – тут и останавливать не надо, тем более что я-то, в отличие от Евгения Леонова, в вечерней школе рабочей молодежи действительно учился. И молодежь вокруг меня там была уже в годах, куда более зрелая во всех вопросах, чем я, – кроме, собственно, учебных, тут я, вчерашний обыкновенный, не вечерний школьник, им всем помогал. А среди них попадались и такие, как мой сосед по парте с нежной фамилией Плакин, но уже, тем не менее, с лагерным, непионерским, опытом. Так вот у нас, и у меня с их опекунской подачи, бытовало другое правило: – По пятьдесят – и в школу!

С математикой, кроме зарплатной, у них тоже туговато: бутылка на троих – какие ж тут пятьдесят? Как минимум – по сто пятьдесят!..

Да, вспомнил: в воинском лазарете, где я был единственным «серьезным» пациентом, ко мне по

ночам заходил наш батальонный военврач, молодой, почти что моих, солдатских, лет и приносил пузырек не с нашатырным, а обыкновенным, медицинским спиртом:

– За здоровье!

Неужели в театре, в храме искусства? – за столиками стояли тесно, местная прима, с милостиво-го попустительства примы вчерашней, директрисы, царственно подавала мужчинам руку для поцелуев.

А я уже мысленно счастливо примерял на нее, белокурую, цыганский, ведьмин парик Елены Сергеевны.

Неужели там?

Значит, где-то, втирушею, шился между нами, ручки-щечки целовал, стол по-собачьи облизывал и герой-любовник со зловешей короною на плешивой головенке.

Или?

Мне предложили кислородную маску. Моя палата впритык примыкала к сестринскому посту. Тревожный звонок трещал-заливался там беспрерывно: кому-то плохо.

В интернате в спальне у меня было шестнадцать кроватей.

В армии – сто двадцать.

В интернатской спальне по ночам кто-то нередко плакал – пространство вокруг, даже возле беспечных храпунов – сразу электризовалось: мать приснилась.

В казарме же то здесь, то там взрывчато хохотали, нежно лапая плоскую, ватную, совершенно безгрудую подушку: тут уже с дощатого, казарма щитовая, потолка влажно спускались другие сны.

Здесь же, в больничном корпусе, даже в мою отдельную каморку из коридора, из-за каждой, похожей, двери совершенно свободно проникали, изливались тяжелое мужское, свистящее дыхание и стоны. Кто-то один одним и тем же странно высоким голосом вскрикивал:

– Сюда!

Видимо, не надеялся уже на звонок.

В свои семьдесят три я здесь, похоже, из «молодых». Как и в вечерней школе рабочей, очень ночной молодежи. Сестрички, заметил, радуются, если народ, пускай и с паровозным свистом, дышит. Радуются, прямо как правительство. Они здесь на военном положении. Даже по двору, Офелии-Ариадны, под бессонным прожектором, бредут и глухой ночью: то опять же с креслом-каталкой, а то и просто с каталкой. Невольно вперивался в окно: что там, над поклажей, простыня или, не приведи Господь, уже брезентовый, прорезиненный полотно?

Врачи и медсестры, как узнаю я позже, даже ночуют где-то здесь же, в корпусе. Как сержанты и младшие офицеры – на казарменном положении.

Да, где-то здесь. Но вот из их-то спальни ни звука: большинство уже переболели.

\* \* \*

Объявили, что на следующий день будут вливать донорскую плазму от людей, переболевших коронавирусом, то есть – с антителами. Я поежился уже при одном слове «плазма» – дохнуло чем-то астральным. С чего бы такая пугающая честь?

– У меня что, совсем плохо?

– Да нет, – заведующая отделением, – мы практически всем вливаем. Благо возможность у нас для этого есть...

Ростом невеличка, как хорошо, ювелирно обточенная синичка – несомненно летающей, летной делает ее и невесомый скафандр, за которым оживлено живут чудесные глаза старшеклассницы. Родом из приморского южного городка. Позже, когда познакомимся покороче, упомянет, что сейчас, из Москвы, на расстоянии, лечит многочисленных своих земляков: консультирует, подсказывает, в том числе даже по ночам, телефон у нее сейчас зашкаливает, тамошним врачам, с головой окунувшимся в пучину пандемии.

– Только у них там лекарств таких, как у нас в Москве, нету. Приходится на ходу импровизировать, – погрустнели за плексигласом глаза вчерашней выпускницы приморского синеокого городка.

Зовут ее Елена с чем-то, но «с чем-то» как-то не отложилось, ввиду младости ее приморских лет.

Лечащий врач примерно таких же годков, но породы, природы уже другой: сдержанна, ростом повыше – синички любят щебетать сквозь тополиный тревожный речитативный шелест. Оксана – тоже следует запомнить.

Комбинезоны у них, оказывается, различаются оттенком, видимо, как погоны, знаки отличия: у заведующей ближе все к той же, морской, волне.

...Плазму привозят из какого-то общего центра, скорее всего, из «Склифа». Доставили уже поздно ночью, в третьем часу, самая для меня волчья пора. Подвесили на никелированные стойки для капельниц. Почти что грелка. Янтарного, полудрагоценного цвета – у молодых, из молодых брали? Хорошо бы из молодых – стариковской у меня и у самого вдоволь. Шесть человек, говорят, потребовалось, чтобы нацедить эту мягкую посудину – служившим



требнадзор. А оттуда сегодня пришел вердикт: отрицательно...

Радовать? Давать трепака? Так уже влило. И не только плазма шестерых моих безвестных доноров, но и еще Бог знает сколько всего разного.

Картина вторая: под холодным ливнем таскал на даче ведрами воду из железных бочек под крышей, под водостоками. Промок до нитки, а переодеться было лень. Продрог, потом и в доме долго не мог согреться. Там и подхватил? Правда, не ковид, к счастью, а воспаление легких?

Хрен редьки не слаще.

...Оксана отнеслась к моему нетерпеливому сообщению снисходительно:

– У нас своя, собственная служба. А вообще, мы больше ориентируемся на кровь и на компьютерную томографию, а в легких у вас все-таки два очага. Так что делайте выводы сами...

Ну да, бочек было даже не две, а четыре.

Я и сделал выводы: не радоваться, не плясать. Пытаюсь.

...Что ж, стал вставать не в полшестого, а в пять. Не без некоторого тщеславия заметил, что сестрицам, да и врачам, импонировало, что к их приходу я в меру сил если и не огурец, но уже обихожен.

Пастернак, даже лежа в постели, будучи к ней, уже как трофей самой смерти, приторочен, брился до последнего.

«Собственная служба», к слову, за неделю, что пролежал в больнице, еще трижды брала у меня мазки и из гортани, и из носа – процедура не из приятных, – и все анализы также оказались отрицательными.

Так было, черт подери, или не было?

Пока лежал я здесь, в «красной зоне», «на свобде» из жизни ушли еще двое моих друзей. Журналисты. Стас Сергеев и Женя Панов. Женя в последние годы все заботливо лечил, возил в санатории свою жену, беспокоился о ней, а надо же – судьба смухлевала, ушел вне очереди...

Еще одна нервная бессонная ночь накануне контрольной КТ.

Коротая время, перечитывал «Путешествие в Армению» Мандельштама. Одним глазом в книгу, другим – в айпад: какие там новости с Кавказа?

Сам я тоже родом оттуда, только с Северного, из Буденновска, он же в прошлом Святой Крест, Карабагла, древний Маджар. Городок, который когда-то, еще в конце восемнадцатого века, впервые приютил очередных армянских беженцев, да привечает их и сейчас: армян и нынче здесь почти столько же, сколько и русских.

С первых часов Спитакского страшного землетрясения, вместе с Николаем Ивановичем Рыжковым, я приземлился в эпицентре армянской трагедии в декабре 1988 года...

В Баку у меня тоже друзья. Самый близкий, Ариф Мансуров, строитель милостью божьей, давно лежит уже на кладбище. В январе, теперь уже девяностого, в ночь ввода войск в Баку, я оставался одним из «ответственных» дежурных ЦК партии. Переступив все мыслимые и немыслимые инструкции, позвонил туда, Арифу, и сказал:

– В эту ночь не выходи на улицу. И никого из дома не выпускай!

Надо было знать кипучего Арифа – так он меня и послушался!

Выскочил, митинговал, безумствовал, боюсь, правда, что пламя из уст его было все же послабее пламени, что всегда жило, ворочалось в его огромных, с нефтяным смурным отливом, южных глазах. Нет, его не тронули, в него не стреляли – он умер вскоре сам.

От разрыва сердца.

...Новости в айпаде одна горше другой. Война. Так, чего доброго, и вновь до моего многострадального Буденновска дотянется. Новые беженцы вот-вот окажутся и в Москве.

Прекрасны, с тяжелым, подземным, магматическим Арифовым огнем, мандельштамовские экзерсисы об Армении и армянах: судьба подарила гению это счастливое, солнечное путешествие перед кандалным вояжем на Дальний, теперь уже Дальний, а не Ближний, Восток, к братской безродной могиле.

«...В библиотеку вошел пожилой человек с деспотическими манерами и величавой осанкой.

Его Прометеева голова излучала дымчатый, пепельно-синий свет, как сильнейшая кварцевая лампа... Черно-голубые, взбитые с выхвалю пряди его жестких волос имели в себе нечто от корешковой силы заколдованного птичьего пера.

Широкий рот чернокнижника не улыбался, твердо помня, что слово – это работа. Голова т. Ованесьяна обладала способностью удаляться от собеседника, как горная вершина, случайно напоминающая форму головы. Но синяя кварцевая хмурица ее очей стояла улыбки...

...Мне удалось наблюдать служение облаков Арагату.

Тут было нисходящее и восходящее движение сливок, когда они вваливаются в стакан румяного чая и расходятся в нем курчавыми клубнями.

А впрочем, небо земли араратской доставляет мало радости Саваофу: оно выдумано синицей в духе древнейшего атеизма...»



Да он, Осип Эмильевич Мандельштам, собственно, тоже особо не разделяет, во всяком случае в силе слова и красок, армян и азербайджанцев, христиан и мусульман, у которых даже кухня, по свидетельству этого, похоже, вечно голодного гурмана так схожа. Не разделяет:

«...Персидская миниатюра косит испуганным грациозным миндалевидным оком.

Безгрешная и чувственная, она лучше всего убеждает в том, что жизнь – драгоценный неотъемлемый дар.

Люблю мусульманские эмали и камеи!

Продолжая мое сравнение, я скажу: горячее конское око красавицы косо и милостиво нисходит к читателю. Обгорелые кочерыжки рукописей похрустывают, как сухумский табак.

Сколько крови пролито из-за этих недотрог! Как наслаждались ими завоеватели!..»

Да, прав Осип Эмильевич.

Жизнь – драгоценный неотъемлемый дар... Который так неистово в эти дни отнимают друг у друга два извечных соседа-народа... В самом начале этой войны оттуда, с Кавказа, мне пришло предложение написать свое мнение о ней, о случившемся. Написал. Отослал. Но ни та сторона, ни другая не напечатали.

Не устроило.

...На контрольную КТ нас вызвали двоих, меня и еще одного пациента, тоже в годах. Его повезли в кресле-каталке, в каковом несколько дней назад рассекал и я, я же от кресла отказался, и на сей раз мне позволили, доверили топтать на свои двоих.

Опять саркофаг. Опять репетиция. Того и гляди, прозвучит обратный отсчет: «10, 9... 1... 0... Пуск!» Отлет.

Нет. Вылет, похоже, на сей раз откладывается. Опять сижу над Осипом Эмильевичем, хотя глаза уже смотрят куда-то и сквозь страницы, даже сквозь них высматривают здесь же, в вдвоенном, третьем-четвертом томе нежно запрятанную, как тоже заветное, золотое, тоже черно-белое мандельштамовское слово, фотокарточку. Платочек домиком и веточка, гроздь цветущей майской яблони в петлице выходного жакетика.

И тут, тоже как из книги, из двери появляется, вскальзывает – или вскальзывает? – синичка. Заведующая. Вскაკиваю, потому что даже через скаффандр в ясных-ясных угадываю: вылет действительно откладывается!

– Выбирайте: могу выписать завтра, в субботу, а могу в понедельник.

Конечно завтра, а еще лучше бы вообще – сегодня, сию минуту.

– Я поняла, до понедельника ждать не хотите. Согласно и яростно киваю головой.

– Благодарите свой организм. Он очень хорошо откликнулся на лечение. На наше лечение, – все-таки сделала акцент на местоимении. – Организм у вас еще справный..

Так и сказала: не исправный, а почти по-нашенски, по-никольски: с п р а в н ы й.

В этот момент и выскользнула, тоже как выпорхнула, легонькая, с почти истлевшими от времени полупрозрачными крылышками моя заветная карточка. Охранная грамотка: белый крестьянский платочек, жакет и новая, едва ли не в первый раз надеванная клетчатая, удлиненная, как сказали бы сейчас мои дочери, «карандашом» юбка.

Теперь я ее уже не потеряю.

Никогда.

Впрочем, пускай так и живет себе в Мандельштаме. Это и тоже вполне достойная, стихийная проза. Живет письмецом, паролем. До поры, до времени.

*18 октября – 9 ноября 2020 года*

